

Михаил Булгаков

В НОЧЬ НА ТРЕТЬЕ ЧИСЛО

ИЗ РОМАНА «АЛЫЙ МАХ»

Действие «Белой гвардии» заканчивается в эту самую ночь на 3 февраля 1919 года, и мост этот, и убийство на мосту внезапным и кратким видением возникают в последней главе романа. Но отрывок «В ночь на третье число» никак нельзя считать всего лишь вариантом последней главы романа «Белая гвардия», и название «Алый мах» не является вариантом названия «Белая гвардия»: в «Белой гвардии» нет никакого «алога маха»...

Михаил Булгаков свою прозу — даже большую прозу — писал как правило с начала. С тех глав, которые в тот момент считал первыми. С первых глав был многократно начат роман «Мастер и Маргарита». С первых страниц — с вступления — был по крайней мере дважды начат его роман о театре. В середине 30-х годов Булгаков задумал новую книгу, не написал ее, но осталось ее начало, первые страницы — «Был май...»

Попробуем прочесть предлагаемый фрагмент как одну из начальных глав большого произведения. И мы вспомним, что в истории — хронологически — с описанных Булгаковым событий действительно начинался «алый мах». Так можно назвать победное, стремительно развивающееся, блистательное наступление Красной Армии на юг в феврале, марте, апреле 1919 го-

да, когда в короткий срок была освобождена почти вся Украина, Донская область, Крым, когда петлюровцы, по выражению одного из героев Булгакова, «салом пятки подмазали» при одном только слове «большевики».

Роман «Алый мах» Булгаков не написал. Мысль его передвинулась в глубь времени, к предшествующим событиям, и планы романа «Белая гвардия» вытеснили этот более ранний замысел. Отдельные образы этого фрагмента вошли впоследствии в «Белую гвардию», другие — еще позже — были использованы в пьесе «Дни Турбиных».

И все-таки перед нами не просто эскиз будущих сочинений. Это самостоятельное произведение Михаила Булгакова о гражданской войне. Момент духовной и творческой жизни большого художника.

Текст приводится полностью. Исправлены явные опечатки.

Этот фрагмент был опубликован в 1922 году. С тех пор не переиздавался. Оба его названия — заголовок и подзаголовок — требуют пояснения.

В ночь на третье число — на 3 февраля 1919 года — петлюровцы, разгромленные Красной Армией восточнее Киева, под Броварами, панически оставляли

Киев. Они бежали из пригородной Слободки — по мосту через Днепр — на город, и далее через город, на запад. Когда на рассвете 3 февраля в Киев вошла разведка Щорса, город был тих и пуст, и не было видно на улицах «хвостов» — петлюровских красных и синих хвостатых шанок, и серых шинелей «сечевиков», и черных «халатов» отборной «синей» гайдамацкой дивизии тоже не было.

Дня за два до описанной ночи молодой врач Михаил Булгаков, подобно герою этого фрагмента, был мобилизован в петлюровские войска и так же, как и его герой, в ночь на 3 февраля из петлюровских войск бежал. Первая жена Булгакова, Татьяна Николаевна, рассказывает, правда, эту историю чуть проще: «Не стреляли... Войска шли по Александровской. Это очень близко от дома. Он чуть поотстал... Потом

еще немножко... Отстал совсем и побежал домой».

Краткая «служба» у петлюровцев была одним из самых тяжелых потрясений в жизни Михаила Булгакова, глубоко отразившимся во многих его произведениях.

Другое название отрывка — «Из романа „Алый мах“» — не столь ясно. Никаких других следов такого романа, кроме этого вот названия и этого вот текста, не сохранилось. Действительно ли существовал роман — скажем осторожнее: замысел романа, и если существовал, то когда писатель мог работать над ним? Известно, что до конца 1921 года воображение Булгакова занимал его первый роман — «Недуг» — о событиях 1917 года в Москве. Известно, что с начала 1923 года он пишет «Белую гвардию». Но между этими замыслами был промежуток — год 1922-й.

Пан куренный в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным.

— В бога и в мать!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе ростриляю, бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, повисшую над Слободкой, и давнул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, кувыркнувшись весело — трах-тах-тах-тах-дах, — взмыло в обледеневших пролетах игриное эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакалейникова сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты надели на них черной стеной, гишлой паранет крикнул, лопнул, и доктор Бакалейников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Там — снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб — он горячий, как кипяток.

Доктор Бакалейников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) и наконец — твердая обледеневшая покатость.

На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал об колочую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — бархатная божественная ночь в алмазных брызгах.

К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

— Я — дурак. Я — жалкая сволочь.

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

— Дураков надо учить. Так мне и надо.

Он стал заочечневшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк. Вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

— Господи. Если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.

Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох...

— Я — монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт! Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы. Ну и мерзавцы! Господи... Дай так, чтобы большевики сейчас же вот оттуда из черной тьмы за Слободкой обрушились на мост.

Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и большие халаты бегут в рассыпную. Остается пая

куренный и эта гнусная обсыпанная в алой шапке — полковник Маценко. Оба они падают на колени.

— Змилюйтесь, добродию, повет они.

Но доктор Бакалейников выступит вперед и говорит:

— Нет, товарищи! Нет. Я — монарх... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь в этой кутерьме, по этих двух нужно убить как бешеных собак. Это негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

— А-а... так... — злоеще отвечают матросы.

А доктор Бакалейников продолжает:

— Да, т-товарищи. Я сам застрелю их!

В руках у доктора матросский револьвер. Он делится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакалейников опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгнули в загадочной Слободке. В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помакивал в такт своим словам маузером.

— Скидай, скидай, зануда, — говорил он.

На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизо-черная, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзлую тряпку.

«Убьет... убьет... — гудело в голове, — ведь целы ноги у этого дурака. Господи, чего ж он молчит?»

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил наконец омерзительную тряпку, медленно обеими руками поднял ногу к самому носу куренного. Торчала совершенно замороженная белая, корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы.

— До лазарету. Пропустить його!

Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним! Тут. Вот он — город — тут! Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой! О мир! О благодостный покой!

Звериный визг вырвался внезапно из белого здания. Визг, потом уханье. Визг.

— Жиды порют,— негромко и сочно звякнул голос.

Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, смутно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом.

Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

— Что ж это такое?! — чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкоскулое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане.

— За что вы его бьете?

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме и самого Бакалейникова.

Новая толпа дезертиров сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренный, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

— Сыняя Дывызя! Покажи себе! — как колотушка стукнул голос полковника Мащенко. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными ха-

латами, храни от шлепавшей цетины штыков, встал на дыбы.

— Кро-ком руш!

Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в кленцах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парашюта, ввалился в черное устье и погнал перед собой обезумевших сечевиков. В грохоте смутно послышался голос:

— Хай живе батько Петлюра!!

О звездные родные украинские ночи. О мир и благодостный покой!

В девять, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной квартире доктора Бакалейникова был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара Афанасьевна — жена доктора — металась от одного черного окна к другому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и Слободку.

Колька Бакалейников и Юрий Леонидович ходили за нею по пятам.

— Да брось, Варя! Ну, чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случилось. Правда, он дурак, что пошел, но я думаю, догадается же он удрать!

— Ей-богу, ничего не случится, — утверждал Юрий Леонидович, и намащенные перья стояли у него на голове дыбом.

— Ах, вы только утешаете!.. Они его в Галицию увезут.

— Ну, что ты, ей-богу. Придет он...

— Варвара Афанасьевна!

— Хорошо, я проаккомпанирую... Боже мой! Что это за гадость? Что за перья?! Да вы с ума сошли! Где пробор?

— Хи-хи. Это он сделал прическу а ля большевик.

— Ничего подобного, — залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович.

Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской «Голярня», Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские

штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Юрий Леонидович — вправо, и тот вправо, влево и влево... Наконец разминулись.

— Подумаешь, украинский барин! Полтротуара занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу.

Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обернулся, смерил черную замазленную спину, улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма, и пробормотал:

— Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в городе.

Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свэтр с дырой на животе; палка с золотым набалдашником была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович размочил сооружение Жана из «Гольярни» и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... Боже!

— Уберите это! Я не буду аккомпанировать. Черт знает... Папуас!

— Команч. Вождь — Соколиный Глаз.

Юрий Леонидович покорно опустил голову.

— Ну, хорошо, я перечешусь.

— Я думаю — перечешетесь! Колька, отведи его в свою комнату.

Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макарушина, обладатель феноменального баритона.

Город прекрасный... Го-о-род счастливый!

Моря царица, Веденец славный!..

Ти-и-хо порхает...

Бархатная лава затопила гостиную и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-о-род ди-и-вный!!

Звенящая лава залила до краев комнату, загроме-ла бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол. И только когда приглаженный команч,

приглушив звук, царствуя над покоренными аккордами, вывел изумительным меццо:

Месяц сия-а-а е-т с неба поющего!..

и Колька и Барвара Афанасьевна расслышали дьявольски-грозный звон тазов.

Аккорд оборвался, но под недалью еще село «до», оборвался и голос, и Колька вскочил как ужаленный.

— Голову даю наотрез, что это Василиса! Он, он, проклятый!

— Боже мой...

— Ах, успокойтесь...

— Голову даю! И как такого труса земля терпит?

За окном плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька заметался, втискивая в карман револьвер.

— Коля, брось браунинг! Коля, прошу тебя...

— Да не бойся ты, господи!

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разливался, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот.

— Коля, не ходи со двора. Юрий Леонидович, не пускайте его!

Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной: дон... дон... дон...

Колька угадал. Василиса — домовладелец и буржуй, инженер и трус, был причиной тревоги. Не только в эту грозную, смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдале самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайдамацкие хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки ночью и днем, звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома, и каждое утро, вставая, ждал бедняга какого-то еще нового, необычайного, всем сюрпризам сюрприза. И прежде всего дождался того, что природное свое имя, отчество и фамилию — Василий Иванович Лисович — утратил и стал Василисой.

На бесчисленных бумажках и анкетах, которых всякая власть требовала целые груды, преддомком начал писать: Вас. Лис. и длинную дрожащую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной, необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей власти.

Нечего и говорить, что лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с «Вас.» и «Лис.», весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай при разговоре с Василисой в упор.

Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе Авдотьей Семеновной — женой сапожника. Поэтому в графе: «2-е число, от 8 до 10» — Авдотья и Василиса.

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису.

Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

— Вы поглядывайте, Васил... ис... Иванович, — уныло-озабоченно бросил Колька на прощание, — в случае чего... того... на мушку, — и он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер.

Отчаяние овладело Василисой в десять, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заяви-

ла категорически, что ей пужно отлучиться на пять минут. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и вот он — Василиса — лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, два раза ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными угрожающими голосами, а в номере 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, заковенел с палкой в руках.

Месяц сиял...

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Колька, за ним Юрий Леонидович.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай. Колька с Юрием Леонидовичем осторожно заглянули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем, и Авдотья кот давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота.

— Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

— Нет, кажется, не я...

Колька, отвернувшись, возвел глаза к небу и прошептал:

— О что это за человек!

Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, потом в номере 19-м, и только долго, долго кто-то еще стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Колька, вернувшись, прекратил попытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой (10—12 час.) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом:

— Ура! Радуйся, Варвара... Ура! Гонят Петлюру!
Красные идут.

— Да что ты?

— Слушайте... Я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят.

— Ты не врешь?

— Чудачка. Какая ж мне корысть?

Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила торопливо:

— Неужели Михаил вернется?

— Да, конечно. Я уверен, что их выдавили уже из Слободки. Ты слушай: как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост. Через горд когда будут проходить, тут Михаил и уйдет!

— А если они не пустят?

— Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть сам бежит.

— Ясно,— подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино. Уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько:

Соль... до!..

Проклятьем заклеимен...

а Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат «ура»:

— У-а-а-а!..

— Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!..

— У-а-а-а!.. Долой Петлю... ап!..

Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой.

Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидал секунда в секунду на переломе ночи со второго на третье число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто с лицом, синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разорванное в ключья пальто и каждому удару отвечало сильное:

— Ух... а...

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

— А-а, жидовская морда! — испуганно кричал пан куренный. — К штабелю сто на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я тебе покажу! Що ты робиш за штабелем? Що?!

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже: «Ух...» Как-то странно, подернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючкватато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников вскрикнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец на помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренный, исчез полковник Мащенко. Остались позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах.

У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников

вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе. Спи-ну начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено! Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади наконец, страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Сты-ый!

Тут доктор Бакалейников — солидный человек — сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

— Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше — сеть переулков кривых и черных. Прощайте!

В пролом стены вдавился доктор Бакалейников. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развеял по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першого полку синей дывызии». На случай, если в пустом городе встретится красный первый патруль.

Около трех ночи в квартире доктора Бакалейникова залилс я оглушительный звонок.

— Ну я ж говорил! — заорал Колька. — Перестань реветь! Перестань...

— Варвара Афанасьевна! Это он. Полноте.

Колька сорвался и полетел открывать.

— Боже ты мой!

Варвара Афанасьевна кинулась к Бакалейникову и отшатнулась.

— Да ты... да ты седой...

Бакалейников тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернув щекой. Затем, поморщившись, с помощью Кольки стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустилс я на стул и весь обвис, как мешок. Варвара Афанасьевна глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Юрий Леонидович и Колька открыв рты глядели в затылок Бакалейникову на белый вихор, и папиросы у обоих потухли.

Бакалейников обвел глазами тихую столовую, оставил мутный взгляд на симонире, несколько секунд вглядывался в свое искаженное изображение в блестящей грани.

— Да, — наконец выдал он на себя бессмысленно.

Колька, услышав это первое слово, решилс я спросить:

— Слушай, ты... Бежал, конечно? Да, ты скажи, что ты у них делал.

— Вы знаете, — медленно ответил Бакалейников, — они, представьте... в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Бакалейников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Варвара Афанасьевна, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже поблднели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой, а Юрий Леонидович сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

— Да, каналья этот Петлюра.

Бакалейников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул:

— Бандиты... Но я... я... интеллигентская мразь! — и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улицы, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки, от Слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгнула черная лента, пересекашая город, в мраке на другой стороне. Небо висело — бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный.

Публикация и предисловие Лидии Яновской

Рисунок Валерия Топкова